



Геннадий Капранов

1938–1985

Уже
ДО СВИДАНИЯ

Дорога

Просыпаются веси и грады.
Север серый, а юг голубой.
Южный ветер проносит отряды
облаков над моей головой.

И кончается улицы щёлка,
и встречает, лицо холодя,
с небом утренним слитая Волга,
душу, плечи и грудь молодя!

И в предчувствии ясной погоды
в юный мир, как птенцы из гнезда,
отправляются в путь пароходы,
самолёты и поезда.

Поезд посвистом будит дорогу,
будит воду гудком пароход.
Я – со всем начинающим в ногу –
отправляюсь в далёкий поход.

Треплет ветер вихры и одежды.
И вот так в человечесей груди
воскресают мечты и надежды,
если вьётся тропа впереди.

Свет в глазах

Я чист, как родниковая вода,
и незатейлив, как забор из тёса.
Я каждую весну иду туда,
где солнце греет рыжие откосы,
где травы пробивают мерзлоту,
где снег сползает в тёмные низины,
где прославляют птицы высоту
и по теченью уплывают льдины.

Там с лодкой возится хромой старик,
там, за зиму отведавшая скуки,
берёза одинокая стоит
и греет к солнцу поднятые руки.
А от земли дрожащий пар идёт,
и так тепло от ветерка сухого,
и всё живое
от природы ждёт
чего-то необычного такого...

Светя в глаза сквозь спутанные ветки,
заходит солнце где-то далеко.
И так просторно мне, и так легко,
и как свободен я,
и всё моё на свете!

Когда со света в комнату вхожу
с растрёпанными ветром волосами,
то долго-долго как слепой гляжу,
не вижу, а свечу вокруг глазами.
И щёки тоже как огнём горят,
и на ресницы лезет чуб упрямый,
и мне мои родные говорят:
«Ты пьяный. Гена,
ты сегодня пьяный».

А я не говорю ни нет, ни да,
я отвечаю так на все вопросы:
«Я чист, как родниковая вода,
и незатейлив, как забор из тёса».

Как-то так

Постройкам – лет за сто. За сорок и мне.
Мир ценен утилем, а не чудесами.
И если ничто не меняется вне,
то – что же поделать – меняемся сами.

Я свыкся и даже, пожалуй, влюблён
в метёный асфальт у калитки смиренной
и в холмик зелёный с белёным кремлём...
А я начинал-то с любви ко Вселенной!

С чего бы, дитя тротуаров и трав,
я вакуум вдруг полюбил, а не воздух
и, детское личико к небу задрав,
я жить собирался как будто на звёздах!

Ночной путешественник вышних лугов,
во тьме я светился святого не хуже,
и было наградой за эту любовь
блуждание и попадание в лужи.

Я звёздам судьбы не вверяю теперь,
живущему скучный удел уготован,
и – боже! – какой паутиной цепей
я к этому краю земли пришвартован!

И я полюбил этот крошечный край, –
как будто откуда-то я возвратился, –
и этот заборчик, и этот сарай,
в котором, к несчастью, когда-то родился.

Уборщица

Походкой старческой, упорною,
но всё же с горем пополам
идёт уборщица в уборную
не по нужде, а по делам.

Ещё не старая фактически,
в мужской одетая пиджак,
она устала не физически,
а просто так, а просто так.

Она одна и днём, и вечером.
Прибрать партком. Прибрать профком.
Она всегда со щёткой, с веником
и с металлическим совком.

И, протирая подоконники,
как будто на экран в кино,
она из туалетной комнаты
глядит в открытое окно...

В соседнем доме крутят музыку,
и кончили глаза болеть.
Ей так приятно после мусора
на небо чистое смотреть.



Горячий и в жару, и в холод,
всему и всем себя даря,
как был я мускулист и молод
и как себя я тратил зря!

Я спорил с сильными ветрами,
подставив грудь, закрыв глаза,
и счастлив был, когда вихрами
играла юными гроза.

И по реке, косой и кривой,
я в бурю плыл, я плыл на риск,
я плыл, хлебая волны с пеной
и ветер, и каскады брызг!

Но прежних бурь и прежних вёсен
теперь пугается душа
и просит озера и вёсел,
кувшинок, зорь и камыша.

ЖИЗНЬ

Время, хоть медленно, делает дело –
выросли тополи, выросли клёны,
на небо детство моё улетело
божьей коровкой с лужайки зелёной.

Снова прощаюсь – дорога всё та же,
жизни не сделаешь птицей ручною!
Юность моя улетела туда же
чайкой крикливой, чайкой речною.

Грустно, но время настанет такое:
в синее небо – дорога всё та же –
кто-то помашет прощальной рукою
жизни моей, улетевшей туда же.

178

Мама

Я не люблю самообмана –
ну, кто такой я? Кто такой?
Я ухожу домой, а мама
с балкона машет мне рукой.

То поясок перепояшет,
то шпилька выскочит как раз, –
и улыбается, и машет,
пока не скроюсь я из глаз.

Я не выдерживаю дозы
того, чего при всех нельзя, –
и слёзы, слёзы, слёзы, слёзы
переполняют мне глаза...

Но не видны во тьме улики,
нас выдающие двоих:
не вижу я её улыбки,
она не видит слёз моих...

Есть только мать и только дети,
кто может искренно любить,
и больше никого на свете, –
и никого не может быть!

Сирень

Сырые улицы! Сирень!
У всех полно сирени!
И сыро всё. И чем сырей,
тем улицы синее!

Сирень, сирень! Я пьян с неё!
Сирень – моё веселье!
Дай бог всю жизнь бы так синё,
сиренево, весенне!

И в час кончины – дай мне, бог,
не музыки посмертной,
а чтобы был как первый вдох –
и выдох мой последний.

И чтобы гроб мой сквозь сирень
тащили веселее –
по той, которая сырей,
которая синее!

До свиданья

Уже до свиданья.
Я в полном сознаньи.
Я в небе.
Куда я?
В другие края!
Я –
может быть –
птица,
а, может быть, –
знамя,
а, может быть, –
белое облачко я.

Лечу я свободно
и обыкновенно,
ничем не машу,
ничего не кручу,
и, если признаться
во всём откровенно,
то просто я лёгкий
и просто лечу.

«Лечу!» – я шепчу моему захоластью
и плешинам пляжей,
и плюшу лугов.

Мне нравится всё,
но нравится с грустью,
а это есть высшая в мире любовь.

Да, да, до свиданья!
Тут нету – ошибки.
Печально...
И всё-таки, как ни печально, –
большое спасибо
тебе за улыбки,
которыми ты улыбалась нечаянно.
Тогда это значило много...
Такому,
какой я теперь,
когда всё роздано, –
нисколько!..
Ты можешь признаться другому –
тебе это нужно,
а мне всё равно.

Спасибо не надо.
Теперь это нудно.
Скажи «до свиданья» –
и ни гугу...
Меня полюбить
действительно трудно,
а я тебе в этом помочь не могу.

Итак, до свиданья!
Я так бескорыстен,
какими бывают лишь в лучшие дни,
и так же, как лжи,
мне не надо и истин,
раз я бескорыстен –
зачем мне они?

Конечно, ищу я,
скажу не тая.
А что – не скажу,
потому что не знаю.
Я –
может быть,
птица,
а, может быть, –
знамя,
а, может быть, –
белое облачко я.



«...Капранов покоряет искренностью, задушевностью и отдельными удивительно чистыми прорывами в то состояние, когда нет границы между человеческой исповедью и стихами. В некоторых стихах ему удалось чудо целомудренной чувственности, что есть редкость.

...Он – прирожденный лирик, и в этом его главная сила...»

Евгений Евтушенко

Молния для избранного

Что отличало Геннадия Капранова? Какая характерная черта? Податливость доброты. Всегда, везде и во всём. Не той доброты, что «с кулаками», а истинной, глубинной, не на всякий случай, а постоянной. Он относился ко всему с вниманием, уважением: он знал, почти мистически чувствовал, что в природе не существует пустяков, людские обиды требуют излечения. Я не припомню его гневным, даже рассерженным, но в глазах его загустела чернота угля, он был и подавленным, и отстранённым, отодвинутым в тень. Собственно, он привык жить в тени, не возвышаться жестами, голосом, раздувать горло.

Пусть это прозвучит несколько грубо, но я его воспринимал, как подкидыша. Есть у Баратынского стихотворение «Недоносок», о том самом больном ребёнке, зависшем между землёй и небом. Я вполне зримо ощущал человеческую неприкаянность, какую-то ровную линию жизни Геннадия Капранова, если хотите, цельность предназначения, отказ от похожести. Ну, какой может быть сор на поляне? Какая зависть может прижиться в природе, в лесной разноликости? Он довольствовался малым, обязательно необходимым, данным, и нёс свой крест легко, невообразимо курносый человек, как бы говоря: да, я недолговечен, ветх, как гнездо полевой птицы, да, я вижу всё: громадно, вынужденный жить в этих каменных чудесах, но по-настоящему-то я живу не здесь, кто-то будто за меня выстраивает цепь поступков, мой вымысел реальнее пепельницы с окурками, я – карлик. Но я и – великан, присевший на ступеньки у двери Е. Евтушенко.

«Он мне нравится!» – слышу его голос. Такие бывают однолюбам, а когда любви много, утешаются, что она единственна. То есть: качество жизни в способности любить, доверять, не ожесточаться. Он и не ожесточался, укрываясь на ночь доверием. Вот он говорит о себе: «Я чист, как родниковая вода, и незатейлив, как забор из тёса», «между смехом и слезами посереёдке стою». Никакой позы, высокомерия. Для него подснежник – «надснежник», Достоевский – собеседник в аскетичном быту, портрет рядом с задохнувшейся машинкой, комнатёнка в три шага, не с телефоном, а с рукомойником. По первому зову он бежал к человеку, за свою жизнь он не опасался – «дышу – и ладно». Это я всё о его стихах говорю, прочитываю зеркальные отражения. Не собрал он книги, растерял листки, не имел права так относиться к «пережитому», но я подумал вдруг: значит, не мог иначе, пересиливал себя да не получилось...

...И смерть от удара молнии пометила его избранность, – на берегу было множество людей. Смерть находит усталых мучеников, горько это сознавать. Стихи дождались своего часа: раньше, позже – уже ничего не значит, решительно ничего. Важно не упустить затерявшееся. В стихах вся доброта его жизни, искреннее отношение к простым вещам, которое освещает простор земли и подсвечивает каждому человеку без исключения.

Поэт прожил мало, поэт успел состояться.

Рустем Кутуй

«Карлик»
ВЫСОКОЙ ПОЭЗИИ

182

Это было начало 80-х, когда я впервые пришёл в литстудию «Горизонт» при музее Горького. Вот иду весь какой-то по-весеннему возбуждённый, со скатанными в трубочку стихами, которые до начала знакомства с руководителем студии, поэтом Марком Зарецким, считал чуть ли не гениальными, а уходя – незаметно засунул в урну.

Помню всё как вчера! Тютчевская гроза, бьющая в столетние липы «Эрмитажки». Подмокшие стихи, расплзающиеся в пальцах. Горячие майские сквозняки в коридорах музея. Вижу, как одна из поэтесс, упорно именующая себя поэтом, ставит на стол Зарецкому букетик ландышей. Он недоверчиво косится на них и запалывает очередную папиросу. Слышу, на задних рядах шушукуются и звенят мелочью – собирают на вино.

Я не помню, чтобы кто-нибудь напивался в стельку. Но, надо думать, от портвейна «777» мы немного становились смелее, перед тем как выступить вперёд и промямлить сочинённое накануне. Уходили одни, приходили другие. В лито поэты накатывали волнами. Из самой «первой волны» я ещё застал Геннадия Капранова. В тот день я немного опоздал. За окном октябрьская темень сеяла дождем, а здесь – тепло и стихи читают! Сырой дымок папиросы выгнулся нимбом над головой Зарецкого, в ногах лежали покорные зонты поэтесс, а его бесформенный портфель мироточил чернилами...

Я заметил, что в углу раскачивается на стуле какой-то кудрявый и смуглый карлик, от которого тянет винцом. Курили двое: Марк Давыдович и Карлик. Из чего можно было сделать кое-какие выводы. Графоманы нетерпеливо кашляли и мяли свои венки сонетов (они только их и писали), а мы, притаились, как молодые волки, отступив за невидимую черту, до которой ты ещё не Поэт, но после...

Свои стихи Капранов читал плохо, еле слышно. Поэтому Марк Зарецкий делал это всегда сам. Мне запомнилось:

**Походкой старческой, упорною,
но всё же с горем пополам
идёт уборщица в уборную
не по нужде, а по делам.**

И потом резкий переход от ведер и швабр к высокому:

**В соседнем доме крутят музыку,
и кончили глаза болеть.
Ей так приятно после мусора
на небо чистое смотреть.**

Марк Зарецкий любил Капранова, часто цитировал стихи, рассказывал забавные случаи из его бедовой жизни. Когда в Казань приехал сам Евтушенко – живой классик русской поэзии – то никого из местных поэтов не принял, лишь Генку Капранова осчастливил! Говорят, позабыв о своей спутнице, двухметровый московский мэтр сидел в одних трусах на лестнице гостиницы «Татарстан» и слушал до утра стихи казанского поэта.

Жил поэт в коммуналке под самой кремлёвской стеной. Дом этот был построен, наверное, в веке XVIII, если не раньше. Скрипучая грязная лестница на второй этаж, слепые оконца, будто затянутые бычьим пузырём, какие-то старухи времён Достоевского и въевшийся в стены запах щей и помоев.

В его комнате умещался один большой топчан без ножек с нечёсаной сожигательницей, окно, печурка, ведро для бычков и батарея бутылок, которые, как мне казалось, играли роль музыкального инструмента и сопровождали любое движение хозяина весёлым или печальным звяканьем. Да, конечно, в углу на полу ждала своей ночи старенькая печатная машинка и рядом были навалены расплзающиеся кипы стихов, набитых мелким шрифтом. Пили, читали стихи... – всё как полагается.

Когда я пришёл сюда во второй раз, хозяина уже не было на этом свете. Я опоздал на похороны и топтался в растерянности посреди комнаты. Топчан стоял на ребре, машинка исчезла, батарея бутылок дрожала от шагов соседей, а на подоконнике кособоко лежала стопка чистой неисписанной бумаги...

Адель Монрес

